

In the paper «**Virtual in the field of education**» by O.A.Skorkin the virtual environment is broadly determinated as an object environment without interaction of a tutor/docent and an educated. A school-boy as well as a student or a researcher are teaching the navigation in the virtual (information) environment Here is shown that the problem is crucial for the teacher who should transform his role from the expositor of the textbook to the pilot who indicates the right coordinates in the virtual environment.

The creation of this information environment is a challenge.

This role exceeds the ability of “one-hand teacher”, the most important here is the collegial function of pedagogical team. The effective usage of the modern information technologies, it’s proper incorporation into the educational process let us make a step over to the new educational paradigm. The nature of the information environment comprises not only the core of the collective interests of the research team, but the vector of it’s development.

The problem is actual because of the tremendous growth of the information flow, that interfused the modern human being.

Finishes release the publication «**Ontology of an error: the virtual approach**» by M.A.Pronin, G.P.Yuryev. In the article the ontologic bases underlying epistemological difficulties of understanding of the nature of an error are opened. Work continues N.A.Nosova’s devoted to errors on an example of activity of the person-operator the long-term researches – the military pilot, at Institute of aviation and space medicine Department of Defense of the USSR and in the Center of virtualistics (CV) of The Institute of human studying of the Russian Academy of Sciences. Article consists of a short sketch-review of works on the given theme, executed by N. Nosovym and in CV: Pronin M. and Jurev G. Described a current state of a problem of understanding of the nature of errors: the virtual conflict – the paradigmatic conflict lying in paradigmatic structures of modern psychology (not-virtualistic) is opened. Possibilities of the virtual approach are shown. Interdisciplinary harmony egoscopy by G. Jurev for research vital competences and humanitarian risks of the person is proved. Prospects of the further researches within the limits of humanitarian examination of errors and intention are outlined.

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Б.Г. Юдин

Человек в научном познании: методология и ценности*

В методологии науки широко известны различия и противопоставления, касающиеся естественных наук, с одной стороны, и гуманитарных наук – с другой. Так, В.Дильтей видел специфику гуманитарного знания, или, в его терминологии, наук о духе, в следующем. Если в науках о природе изучаемые предметы даны нам внешним образом, так что мы сами, используя различного рода гипотезы, должны конструировать связи между этими предметами, то для наук о духе характерно внутреннее восприятие, так что изучаемое нами дано нам непосредственно, и при том как нечто уже до всяких наших познавательных усилий взаимосвязанное. «Природу мы объясняем, душевную жизнь мы постигаем»¹.

В свою очередь В.Виндельбанд, критикуя это Дильтеевское разделение наук, предлагал различать науки не по предмету, а по методу и специфическим познавательным целям. От наук номотетических, занимающихся выявлением и изучением общих законов, он отличает науки идеографические, ориентирующиеся на индивидуальные, уникальные ситуации, такие, к примеру, как какое-либо историческое событие.

В обоих случаях, как мы видим, научное изучение человека оказывается разделенным между двумя типами познания. Либо мы подходим к человеку как природному существу, в отношении которого действуют некоторые общие законы, либо же, пользуясь

* Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 08-06-00590а.

средствами гуманитарного познания, мы получаем возможность так или иначе понимать и интерпретировать его действия и поступки, но при этом имеем мало оснований для того, чтобы получить какие-то знания, выходящие за пределы данной уникальной личности и ситуации. С точки зрения возможности *комплексного* изучения человека мы, иначе говоря, оказываемся перед трудно преодолимым разрывом.

Отметим, далее, очевидную ценностную нагруженность такого рода противопоставлений. То, что относится к ведению естественных наук, выступает, во-первых, как нечто более фундаментальное, базисное, основополагающее, но, во-вторых, и как в известном смысле более низкое, приземленное. Вообще говоря, этот естественный базис представляется и более жестким, менее податливым по отношению ко всякого рода воздействиям и манипуляциям. В то же время к области гуманитарного познания относят то в человеке, что принято считать возвышенным, как принято говорить, отличающим человека от животного или же только и делающим человека человеком. Эта сфера, впрочем, воспринимается как относительно хрупкая, менее надежная и более поддающаяся всякого рода влияниям.

Таким образом, среди методологических проблем комплексного познания человека мы фиксируем следующую: как возможно преодолеть те жесткие разграничительные линии, которые разделяют подход к человеку как природному существу, с одной стороны, и подход к нему как к образованию в существенной мере надприродному – с другой? При этом в искомом ее решении хотелось бы так или иначе удержать тот заряд ценностного противопоставления, который сообщает этому поиску, как, впрочем, и всему познанию человека, особую остроту и напряженность.

Попробуем в этой связи провести разграничительную линию иначе, чем это делали упомянутые философы. Будем различать два типа научного познания, взяв в качестве исходного ценностное основание, в частности, имея в виду то, что по сравнению со всеми возможными объектами познания человек является объектом ценностно выделенным, т.е. в этом – ценностном – смысле отличным от всех других объектов. Таким образом, объектом одного типа познания является человек, другой же тип познания направлен на все те объекты, которые мы не относим к роду человека.

Сходное разграничение можно провести и в том, что касается познания жизни, живых объектов, с одной стороны, и неживой природы – с другой². Понятия «жизнь» и «живое» относятся к необозримому множеству объектов, которые мы, однако, в каких-то существенных отношениях считаем едиными. По поводу того, какова природа этого единства, существуют самые различные точки зрения. «Вместе с тем само сознание единства, которое предшествует всякому конкретному биологическому исследованию, является важнейшей конститутивной для биологического познания предпосылкой. Мысля нечто в качестве живого, мы тем самым мыслим это нечто так или иначе выделенным из порядка физико-химических объектов. По сравнению с ними объект биологического познания в некоторых основополагающих моментах дан нам и воспринимается нами существенно иначе»³.

Истоки того обстоятельства, что наделенные жизнью объекты воспринимаются нами иначе, чем неживые, можно отнести к сфере практически-деятельного отношения человека к миру. Действительно, впервые встретившись с неведомым ему доселе объектом, человек прежде всего решает для себя, является ли этот объект живым или неживым. И от того, как будет классифицирован этот объект, зависит и отношение человека к нему, и возможные формы и направления практического воздействия на него.

Уже для первобытного человека живое выступает и как источник средств питания и удовлетворения многих других потребностей, и вместе с тем как источник возможной угрозы, как объект охоты, собирательства и возделывания, культивирования. Живое, в конечном счете, – это то, без чего невозможно существование человека, и наряду с этим нечто чрезвычайно близкое, в буквальном смысле родственное (ср. тотемизм) ему и даже включающее его самого. Будучи фундаментально значимым в практически-действенном плане, живое становится объектом и религиозного, и эстетического, и нравственного – вообще говоря, ценностного отношения. Эта ценностная позиция в разных контекстах может выражаться совершенно по-разному, тот или иной живой объект может вызывать самые различные эмоции: и восхищение, и отвращение, и страх, и сострадание и т.п., но саму по себе ценностную заряженность отношения человека к живому можно считать своего рода инвариантом.

Какое-либо животное или растение может восприниматься как прекрасное и привлекательное, другое же – как безобразное и отвратительное. Некоторые домашние животные для своих хозяев едва ли не столь же близки и любимы, как родственники, иные же биологические виды воспринимаются человеком как враги. И уже в этом ценностно нагруженном контексте формируется и познавательное отношение к живому.

Но, более того, практическая и ценностная значимость живого выступает и в качестве основы для первоначального выявления каких бы то ни было регулярностей, упорядоченностей и закономерностей в труднообозримом многообразии явлений жизни. К примеру, опыт возделывания сельскохозяйственных растений порождает у людей представления о цикличности, регулярной смене сезонов, или времен года. Сегодня мы, конечно, можем воспринимать их чередование безотносительно к сезонности сельскохозяйственных работ. Однако в культурной истории человечества представления о регулярном течении таких процессов первоначально формировались как сторона именно этого опыта разнообразных взаимодействий с миром природы и миром живого.

Таким образом, биологические представления людей изначально характеризуются не только отнесенностью к специфическому классу объектов и явлений, но и специфическим же, эмоционально и ценностно окрашенным типом отнесенности к ним. Иначе говоря, человек не просто воспринимает некоторые объекты и замечает, что они наделены качеством жизни, – само это восприятие строится на основе осмысления практики его взаимодействий с такого рода объектами.

А поскольку эта практика взаимоотношений с живыми объектами в ходе человеческой истории изменяется, изменяются и ее ценностные характеристики, и ее осмысление в рамках биологического познания. С этой точки зрения последнее выступает как решение той задачи, которая диктуется развитием культуры – задачи приведения к некоторому общему знаменателю всех разнообразных и нередко взаимно противоречивых представлений о живом, которые формируются в процессах практического взаимодействия человека с наделенными жизнью объектами.

Первоначально, таким образом, познание живого, его свойств и качеств, т.е. биологическое познание, непосредственно вплетено в повседневную практическую жизнь человека, в его хозяйствен-

ную деятельность. В свою очередь эта деятельность окрашена религиозными, эстетическими и нравственными мотивами. При этом необходимо подчеркнуть, что какими бы наивными, нелепыми и противоречивыми ни казались нам сегодня представления первобытных людей о живом, эта задача осмысления мира живого и ориентации в нем всегда должна была получать и получала то или иное конкретное решение в рамках данной культуры. Ответ биологического познания на запрос, исходящий от культуры, бывает необходимым здесь и теперь, поскольку он является самоопределением культуры в одном из ее фундаментальных аспектов.

Очевидно, биологическое познание, понимаемое таким образом, существует до всякой науки в собственном смысле слова и независимо от нее, а его единство и целостность обеспечивается тем, что оно реализует особую культурно значимую функцию. Однако с появлением науки и превращением биологического познания в один из ее разделов эта ценностная выделенность живого продолжает сохраняться, получая вместе с тем новые формы своего выражения. Познавательное отношение к живому обретает в контексте науки все большую степень самодостаточности, а воздействие на него практически-деятельностных и ценностных моментов становится все более опосредованным. Напротив, с течением времени сами результаты научного биологического познания начинают все более интенсивно влиять на практическую деятельность, прежде всего в таких ее сферах, как сельское хозяйство и медицина, но далеко не только в них.

Становясь научным, биологическое познание начинает вместе с тем решать и такие задачи, которые характерны для науки в целом, а именно: получение систематизированных, доказательных, обоснованных знаний о мире и выработка научных объяснений. Такие объяснения, относящиеся к тем или иным фрагментам этого мира, должны удовлетворять определенной исторически изменяющейся совокупности идеалов и норм – тому, что называют стандартами или эталонами научности. С точки зрения культуры эти объяснения представляют собой построенные с помощью научных понятий ответы на мировоззренчески значимые (т.е. важные для ориентации человека в мире) вопросы, которые порождаются, разрешаются или воспроизводятся в ходе развития культуры, включая, разумеется, и саму науку.

Но если биология ставит во главу угла (артикулирует) отношение к жизни как ценности, давая этому отношению рациональное понятийное выражение и оформление, то наука в целом выявляет и утверждает ценность самого рационального познания, рационального отношения к миру. И опять-таки на каждой стадии развития науки ее культурная задача получает то или иное решение, пусть в последующем оно и будет считаться неудовлетворительным.

Свою лепту в решение этой задачи вносит и биология как один из обширных разделов научного познания. Здесь, однако, возникает следующий вопрос: сохраняется ли в связи с появлением у биологического познания этой новой функции его традиционная культурная задача? Ответ на этот вопрос должен быть утвердительным; более того, сегодня необходимость решения специфической культурной задачи биологии раскрывается с небывалой доселе остротой.

Дело в том, что современное человечество благодаря развитию биологических наук и технологий получает в свое распоряжение колоссальный и быстро расширяющийся арсенал чрезвычайно мощных средств воздействия на живое. Сюда относятся, в частности, многообразные средства манипулирования с живыми объектами – всякого рода биотехнологии, генетическая модификация организмов и т.п. Еще не достигнув могущества демиурга, способного создавать жизнь заново, человек оказался в состоянии полностью уничтожить ее. Поэтому ядром столь актуальной сегодня проблематики защиты окружающей среды является по сути дела вопрос о том, как сохранить существование и разнообразие жизни на Земле. При этом очевидно, что сохранение жизни в ее разнообразии выступает как задача, имеющая наряду с утилитарно-практической также и несомненную ценностную – нравственную, эстетическую и культурную значимость.

Весьма характерно, между прочим, то, что в наши дни все чаще говорится об ограниченности точки зрения, разделяющей биологические виды на «полезные» и «вредные» для человека. Утверждается, что каждый вид обладает уникальностью и, следовательно, должен рассматриваться на основании более широких критериев, чем те, которые диктуются сугубо прагматическими потребностями современного человечества. По всей видимости, нынешняя популярность экологически чистых продуктов объясняется не только

стремлением людей защитить свое здоровье – в течение последних десятилетий бережное отношение к окружающей среде, прежде всего к живой природе, становится культурной нормой.

* * *

Аналогичный ценностно обусловленный водораздел пролегает, на наш взгляд, и между науками, изучающими человека, с одной стороны, и всеми остальными разделами научного знания, – с другой. Вполне очевидно, что до всякого научного познания человека мы, люди, ориентируясь в окружающем мире, так или иначе отличаем, выделяем человека среди всех других объектов, с которыми нам приходится сталкиваться и взаимодействовать. Очевидно также и то, что это отличие человека от любых иных объектов несет в себе, помимо всего другого, и ценностную составляющую.

При этом некий впервые встреченный человек – другой человек, воспринимаемый как нечто неизмеримо более близкое, чем любой другой живой, не говоря уже о неживом объекте, – вовсе не обязательно будет наделяться позитивной ценностью. Он может восприниматься и как незаменимый друг, и как смертный враг. Существуют, очевидно, некоторые задаваемые культурой (а может быть, даже и природой, биологией?) репертуары, способы обычного реагирования на впервые встречаемого человека, и эти способы при всем их многообразии будут значительно отличаться от обычных способов реагирования при встрече со всяким другим объектом.

И опять-таки по мере формирования научного познания человека эти репертуары отношения к другому человеку, вообще говоря, нигде не исчезают, они не отменяются как ненаучные, неистинные, неверные и т.п. Более того, они и сами могут стать объектом научного анализа, критического осмысления, которое будет выявлять, помимо всего прочего, и их ценностные составляющие. Но, отметим, «выявить» в данном случае вовсе не означает преодолеть, нивелировать их действие.

Ценностную выделенность человека как объекта научного познания можно эксплицировать самыми разными способами, а потому едва ли имеет смысл рассчитывать на то, что разные исследователи в разных контекстах будут придерживаться при изучении человека единообразных ценностных установок. Напротив, несо-

впадения ценностных установок принято – и это вполне справедливо – трактовать в качестве фактора, вызывающего как неявные расхождения, так и открытые разногласия между исследователями. Отсюда проистекает вполне понятная интенция на то, чтобы как можно более основательно абстрагироваться от них, освободиться от их влияния и тем самым претендовать на общезначимость получаемых знаний.

Одним из очевидных следствий предлагаемого способа разграничения двух типов познания оказывается то, что к первому – ориентированному на человека – типу относится и познание человека как природного, биологического существа, и как надприродного – социального, культурного, духовного и т.п. Поскольку нам здесь нет необходимости проводить более детальные различия, будем для краткости говорить о человеке соответственно либо как о биологическом организме, либо как о существе социальном.

Обсуждение вопроса о взаимоотношении в человеке биологического и социального, как хорошо известно, имеет богатейшую историю, которую мы также оставим за пределами нашего рассмотрения. Обратим внимание лишь на такую трактовку этого взаимоотношения, когда и одно, и другое понимаются как два различных континуума, которые существуют, вообще говоря, относительно независимо друг от друга, хотя время от времени и могут пересекаться в отдельных точках. В идеале мы стремились бы к такому описанию происходящих в организме человека событий, которое опиралось бы исключительно на биологические законы. Именно такое понимание соотношения биологического и социального, заметим, дает основания для того, чтобы утверждать как возможность, так и суверенность естественнонаучного познания человека средствами и методами биологических наук. И напротив, другим, так сказать, равномошным, идеалом было бы исчерпывающее описание всех происходящих с данным человеком событий на основе законов, относящихся к социальным явлениям и процессам.

В рамках строго методологического рассмотрения любое событие, происходящее на пересечении социального и биологического континуумов, оказывается чем-то случайным, необязательным для каждого из них. Скажем, какое-либо резкое воздействие на биологический организм человека – к примеру, полученная им травма – может нарушить плавное течение процессов не только на

уровне его организма, но и на уровне тех социальных взаимодействий, в которых он привычно участвует. При этом методологически корректным считается не то чтобы отрицать саму возможность каких-либо воздействий на биологию со стороны социального, но видеть в них не более чем препятствие, искажающее общий ход изучаемых процессов и явлений, то, влияние чего надо уметь если не полностью нейтрализовать, то по возможности минимизировать.

Очевидно, такая установка предполагает восприятие и изучение биологического человека как не более чем одного из представителей класса природных объектов. Но здесь можно задаться вопросами: а) является ли такая установка «естественной» – в смысле существенно необходимой – для естественнонаучного познания человека и б) является ли она единственно возможной? С нашей точки зрения, это не так.

Обязательность такой установки и, больше того, ее ограниченную адекватность отмечал еще Роджер Бэкон, писавший: «Чрезвычайно трудно и опасно выполнять операции на теле человека. Действенные и практические науки, выполняющие свою работу на неодушевленных телах, могут множить свои эксперименты до тех пор, пока не избавятся от дефектов и ошибок. Врач не может так действовать из-за благородства материала, на котором он работает, – это тело не допускает ошибок при оперировании на нем, вот почему опыт в медицине дается так трудно»⁴. В этом высказывании прежде всего бросается в глаза то, что Р.Бэкон фиксирует некоторые специфические сложности, возникающие тогда, когда врачу приходится осуществлять манипуляции с телом человека. (В данном случае речь идет не об исследователе, а о враче, но, очевидно, сути дела это никак не меняет, тем более, что здесь упоминаются и науки, и эксперименты.) Бэкон говорит о методических сложностях, связанных с таким манипулированием, но сами эти сложности имеют, очевидно, ценностные основания – «благородство материала», который, таким образом, отличен от всякого другого материала, с коим приходится манипулировать и экспериментировать.

В целом же мы можем понимать взаимодействие биологического и социального как то, что имеет место, является значимым и реализуется не в некоторых выделенных точках континуума человеческого существования, а на всем его протяжении. А это значит, что их взаимодействие можно при желании и при определенном

настрое мысли обнаружить в любой точке этого существования, хотя, конечно, далеко не всегда такая задача бывает актуальной. Отметим, что такое понимание взаимодействия биологического и социального, вообще говоря, вовсе не требует редукционистских подходов, будь то сведение социального к биологическому либо, наоборот, сведение биологического к социальному. Вообще говоря, во многих случаях от этого взаимодействия можно безболезненно абстрагироваться. Тем не менее вполне возможны такие познавательные ситуации, когда учет этого непрерывного взаимодействия позволяет получить нетривиальные результаты. Рассмотрим в этой связи два примера.

* * *

Первый пример относится к сфере биомедицинских исследований и, в частности, того, что принято характеризовать как этическое сопровождение этих исследований. В ходе биомедицинского исследования имеет место взаимодействие по меньшей мере двух сторон⁵: исследователя и испытуемого. Институциональный⁶ интерес исследователя, вообще говоря, состоит в том, чтобы получить новые знания, относящиеся не только и не столько к испытуемому, сколько к человеку как таковому либо к определенной категории людей, выделенной по тем или иным признакам. К примеру, это может быть популяция мужчин в возрасте от 40 до 50 лет, страдающих ишемической болезнью сердца. Задачей же исследования в этом случае может являться, скажем, определение того, какое влияние на состояние здоровья испытуемых оказывает применение того или иного изучаемого лекарственного препарата.

Эта задача, как и необходимые пути и средства ее решения, при подготовке и проведении исследования так или иначе фиксируется исследователем. Нас же здесь будут интересовать те неявные предпосылки, на которые опирается при этом исследователь. Более конкретно речь пойдет о предпосылках, касающихся понимания человека. Очевидно, исследователь абстрагируется от множества деталей и частных, относящихся к каждому отдельно взятому испытуемому, от его жизненных интересов и устремлений: из всего этого многомерного пространства исследователь «вырезает» определенное подпространство, с которым он и работает.

Таким образом, человек вообще и человек-как-испытуемый – это далеко не одно и то же. Будем понимать под *антропологией биомедицинского исследования* выявление тех предпосылок относительно человека как испытуемого, которыми руководствуется исследователь, планирующий и реализующий свой исследовательский проект. Несмотря на то, что эти предпосылки чаще всего не осознаются им, они тем не менее в существенной мере определяют круг проблем, которые могут осмысленно ставиться как проблемы, подлежащие изучению, и которые в принципе могут быть решены в ходе исследования. Иными словами, если исследование вообще понимать как вопрошание, тогда то, что мы, собственно говоря, вопрошаем, в существенной степени обусловлено тем, о чём и у чего мы вопрошаем.

Когда же речь идет об исследовании, проводимом на человеке, то здесь, по сравнению со всеми другими исследованиями, возникает дополнительная сложность: важно не только то, о чём, но также и то, о ком мы вопрошаем, а это различие порождает массу самых разнообразных нюансов. Таким образом, антропология биомедицинского исследования – это один из путей осмысления того, что такое вообще есть биомедицинское исследование и, далее, того, на получение чего мы, методологически грамотно подходя к его проектированию, вправе рассчитывать при его проведении.

Рассмотрим теперь два различных варианта антропологии биомедицинского исследования, расхождения между которыми могут доходить до противоположности. Первый из них является первым, изначальным и с исторической точки зрения; он же, вообще говоря, всем нам представляется и более привычным. Его, быть может, самое контрастное выражение можно будет найти, обратившись ко временам Второй мировой войны.

В те годы в оккупированном Японией Китае, недалеко от Харбина, действовал японский исследовательский центр – знаменитый «Отряд 731»⁷. Его главной задачей была разработка биологического оружия. Те или иные разновидности этого оружия испытывались в ходе экспериментов на людях; в качестве испытуемых использовались заключенные, которых привозили в специальную тюрьму, расположенную на территории этого отряда. В декабре 1949 г. в Хабаровске проходил судебный процесс, в ходе которого на скамье подсудимых оказались те, кто готовил и проводил эти

эксперименты. Материалы процесса были опубликованы, благодаря чему стали доступными уникальные данные и свидетельства, касающиеся одного из наиболее жестоких эпизодов в истории биомедицинских исследований⁸.

Характерно, что испытуемых заключенных при этом деперсонифицировали: они лишались имен, а те, кто работал в отряде, называли этих заключенных «марута», т.е. в переводе с японского – брёвнами.

В литературе, посвященной «Отряду 731», выдвигаются различные версии того, зачем это делалось. Согласно наиболее распространённой версии, целью такой деперсонификации была психологическая защита: если исследователи, как и все те, кто имел дело с этими испытуемыми, не воспринимали их как людей, то психологически было легче подвергать этих людей всему тому, что предполагалось делать с ними в ходе экспериментов.

Каковы же были ценностные основания и моральные предпосылки, делавшие возможным проведение жесточайших экспериментов в массовых, если угодно, промышленных масштабах? Этот вопрос можно сформулировать и таким образом: как должны понимать человеческое существо те, кто считает допустимым подвергать пыткам и жестокостям так много людей? Отдельный жестокий поступок можно было бы счесть, скажем, психической аномалией; однако, принимая во внимание масштабы этих экспериментов, мы должны допустить, что у экспериментаторов были какие-то обоснования, позволявшие им принять такого рода исследования. Безусловно, сама по себе жестокость, имевшая место в «Отряде 731», отнюдь не уникальна: история человечества изобилует такого рода примерами. Тем не менее можно попытаться понять некоторые аспекты такого рода практик, реализовавшихся в области биомедицинских исследований.

Прежде всего, необходимым условием применения такого рода технологий является различие «мы» и «они». «Мы» – это те, кто проводит эксперименты, наряду с теми, кого экспериментаторы относят к той же самой категории. «Они» принадлежат к другой категории и могут в какой-то мере рассматриваться как «нечеловеки». Такая установка позволяет приостановить или по крайней мере ослабить действие «золотого правила» нравственности.

Наиболее распространенной основой такого различия является раса или этничность. И в нашем случае это основание нашло свое применение. Вот что пишет Дж. У. Доуэр о японской теории расового превосходства: «Первой расой – расой хозяев – были японцы, второй – родственные расы, такие, как японцы и корейцы, а третьей – раса гостей, состоящая из островных народов, таких, как жители Самоа. Все неапонские расы рассматривались как низшие формы жизни, которые должны быть подчинены Японии»⁹. Это означало, что можно приносить в жертву людей тех рас, которые считались низшими.

Действительно, вопрос о расе играл существенную роль при выборе испытуемых. В литературе нет упоминаний об использовании в таковом качестве японцев. Однако большинство экспериментов было проведено над теми, кто принадлежал к одной из «родственных рас», на китайцах. Это значит, что расовый критерий был не единственным, использовавшимся для категоризации «мы» и «они».

Другое основание, использовавшееся японскими военными, – это выбор испытуемых среди вражеского населения, будь то действительные или возможные враги. Так называемые «законы военного времени», вообще говоря, очень часто толкуются как оправдание самых разных жестокостей, включая и ужасные эксперименты. Дополнительным оправданием было сформулированное Исии Сиро, генерал-лейтенантом медицинской службы, идейным вдохновителем и организатором «Отряда 731», специфическое понимание военной медицины, которая «состоит не только в лечении и превентизации, подлинная военная медицина предназначена для нападения»¹⁰.

Между прочим, когда испытуемые воспринимаются как враги, принадлежащие к чужим расовым группам, и когда различие между своей и чужими расовыми группами проводится вполне серьезно, возникает одна специфическая проблема: насколько валидными будут результаты исследований для различных расовых групп? Благодаря экспериментам можно получить биомедицинские знания, направленные на уничтожение врагов, но, строго говоря, без проведения подобных экспериментов на испытуемых, рекрутируемых из популяции «мы», невозможно гарантировать, что эти знания будут применимы для того, чтобы защитить собственный военный персонал.

Известно, что в несколько ином контексте эта же проблема обсуждалась и в нацистской Германии. Так, когда «исследователи» решили провести серию экспериментов, которые должны были завершиться смертью испытуемых, первоначально предполагалось использовать в этом качестве цыган. Однако между «исследователями» разгорелась дискуссия по вопросу о том, будут ли данные, полученные в ходе экспериментов на цыганах, применимы к людям арийской расы. Ведь цель этих экспериментов состояла в выяснении того, в каких условиях окажутся пилоты (под которыми, конечно же, подразумевались арийцы) истребителей, поднимающихся на большие высоты. В конце концов решение пришлось принимать Гиммлеру, который распорядился таким образом, что данные, полученные при экспериментах на цыганах, вполне могут быть применены и к арийцам.

В нашем же случае речь шла о том, чтобы определить поразжающий эффект бактериологического оружия применительно к разным человеческим популяциям. В качестве испытуемых использовались и русские, и китайцы, и американцы, и монголы и т.д. Исследователей интересовали по сути дела знания о реакциях различных биологических организмов, в том числе различающихся по популяционным характеристикам, на те или иные воздействия. С этой целью испытуемых заражали бактериями определенных заболеваний. При этом создавалась ситуация, когда удавалось снять моральные барьеры, которые в обычных, не «экспериментальных» условиях препятствуют получению знаний о том, как ведет себя человеческий организм, если он поражается бактериями, какие количества бактерий и каким образом вводить в организм для того, чтобы вызвать наиболее тяжелые поражения и разрушения.

В использовании всех до сих пор названных критериев для различения между «мы» и «они» (сюда же можно добавить и приписывание к категории «они» пленных, преступников и т.д.) нет ничего специфического. Подлинно уникальным и заслуживающим оценки в качестве важного социально-психологического изобретения является применение для обозначения испытуемых уже упоминавшейся категории «марута». Здесь мы имеем поразительный пример социального конструирования. Благодаря этому изобретению возникли новые существа, новые объекты. Они обладали некоторыми общими свойствами с людьми, но не воспринимались как люди в подлинном смысле слова, они были *не-совсем-людьми*.

По свидетельству одного из подсудимых на Хабаровском процессе, генерал-майора медицинской службы Кавасима Киоси, подопытные назывались «бревнами» «в целях конспирации»¹¹.

Представляется, впрочем, что конспирация была отнюдь не единственной причиной. С.Моримура отмечает, что один из офицеров, работавших в «Отряде 731», сказал ему: «Мы не сомневались, что ведем эту войну для того, чтобы бедная Япония стала богатой, чтобы способствовать миру в Азии... Мы считали, что “бревна” не люди, что они даже ниже скотов. Среди работавших в отряде ученых и исследователей не было никого, кто хотя бы сколько-нибудь сочувствовал “бревнам”. Все: и военнослужащие, и вольнонаемные отряда – считали, что истребление “бревен” – дело совершенно естественное»¹².

Здесь, как мы видим, акцентируется «нечеловеческая» природа испытуемых – они воспринимаются как не более чем неодушевленный материал для исследований. Вполне можно согласиться с тем, что использование термина «марута» обеспечивает психологическую защиту исследователей и персонала. Х.Акияма, который служил солдатом в «Отряде 731», вспоминал впоследствии, что только по прошествии определенного времени и вследствие эмоционального привыкания он стал индифферентным по отношению к страданиям тех, кого он привык воспринимать в качестве «бревен»¹³.

Но наряду с психоэмоциональным эта «марута-технология» имела и социальный смысл. В каком-то отдельном случае было бы весьма затруднительно воспринимать человеческое существо в качестве бревна. Если, однако, кого-то и тех, кто его окружает будут снова и снова побуждать согласиться с такой идентификацией, в какой-то момент он начнет соглашаться с тем, что это действительно так.

Применение «марута-технологии» давало двусторонний эффект. Во-первых, зло, в данном случае – жестокие эксперименты на людях, когда оно совершается систематически, принимает вид обычной, рутинной практики, чего-то заурядного, что не может вызвать такие глубокие чувства, как отвращение. Говоря словами Х.Арендт, зло становится банальностью¹⁴. Во-вторых, «марута-технология» оказалась эффективной в качестве технологии *дегуманизации*. Выяснилось, что *некоторые биомедицинские эксперименты на людях можно проводить только тогда, когда исследователи перестают видеть в них людей*.

Моримура проводит такое весьма значимое сопоставление: «В жандармерии, до отправки в отряд, каким бы жестоким допросам их ни подвергали, они (пленники – Б.Ю) все же были людьми, у которых был язык и которые должны были говорить. Но с того времени, как эти люди попадали в отряд, они становились всего лишь подопытным материалом – “бревнами”...»¹⁵.

Среди документов, представленных на Хабаровском процессе, были выдержки из руководства по проведению допросов военнопленных. В руководстве описываются крайне жестокие методы пыток для того, чтобы получить достоверные признания¹⁶. Однако при проведении допросов, при всей их жестокости, было необходимо относиться к пленному, пусть и врагу, как к личности, которая обладает некоторыми знаниями, может понимать вопросы и давать ответы и т.д.

Эти специфически человеческие свойства, впрочем, оказывались излишними, когда людей превращали в испытательные «бревна». Становилось совершенно несущественным, являются ли они врагами или нет. Отныне главным, если не единственным качеством, имеющим реальное значение, становилось состояние здоровья этих существ. Персонал «Отряда 731» предпринимал все усилия для того, чтобы те, кто выжил в ходе эксперимента, получали самое лучшее лечение и питание, чтобы их здоровье было восстановлено. Таким образом, возникает парадоксальная ситуация: действия, которые в нашей повседневной жизни мы склонны интерпретировать как выражение подлинной гуманности, – дать заботу и пищу нуждающемуся – оборачиваются своей противоположностью, злодейством, приготовлением к новым жестоким экспериментам. Как отмечает Моримура, для исследований «нужны были здоровые “бревна”. От подопытных требовалось только здоровье. Больше ничто человеческое за ними не признавалось»¹⁷. Здоровье и питание принадлежат к числу фундаментальных человеческих потребностей; однако сомнительно, чтобы испытуемые, будь они должным образом проинформированы и спрошены, дали бы информированное согласие на такое лечение с перспективой последующих страданий. Мы, таким образом, имеем здесь дело с двойной антигуманностью: фундаментальные потребности удовлетворяются только для того, чтобы еще раз превратить людей в «бревна».

Вообще говоря, для того типа антропологии биомедицинских исследований, о котором идет речь, естественно представление об идеально чистом эксперименте, когда, в частности, сняты все препятствия и помехи морального характера. Такая точка зрения достаточно широко распространена и сегодня. В этой связи будет уместно процитировать в высшей степени авторитетного философа Р.Харре: «Исследовательская этика возводит всякого рода барьеры для процедур выявления предрасположенностей и способностей у человека и во все возрастающей степени у животных»¹⁸.

Таким образом, основополагающим для такого типа антропологии биомедицинского исследования является представление о том, что человек-как-испытуемый – это не более чем биологический организм. Если пойти немного глубже в историю, то интересные рассуждения на этот счет можно найти у М.Фуко в «Рождении клиники». Фуко говорит о том, как формировалась практика биомедицинских исследований: в конце XVIII – начале XIX вв., во времена Великой французской революции, возникают клиники, в которых содержатся пациенты-бедняки, не имеющие средств, чтобы оплачивать медицинскую помощь.

Бесплатная помощь в клинике, таким образом, выступает как своего рода благодеяние со стороны общества: общество как бы берёт их на своё содержание, но в обмен на это они должны безропотно соглашаться на роль испытуемых: «Наиболее важной этической проблемой, которую порождала идея клиники, была следующая: на каком основании можно превратить в объект клинического изучения больного, принужденного бедностью просить помощи в больнице? ...Теперь его просят стать объектом осмотра, и объектом относительным, ибо его изучение предназначено для того, чтобы лучше узнать других»¹⁹. Итак, эти бедняки, с одной стороны, имеют обязательства перед обществом, с другой стороны, они безответны, а с третьей стороны, – и это очень существенный момент – в клинике их много, а это важно с точки зрения возможности получать статистически достоверные результаты.

Таким образом формируется антропология биомедицинских исследований, которую можно было бы назвать антропологией типа I. А затем, после Второй мировой войны, по мере того, как человечество осмысливало исследования, проводившиеся прежде всего в нацистской Германии, начинает меняться само понимание

биомедицинских исследований, их возможных и допустимых целей, практики их проведения. Начинает формироваться антропология медицинских исследований типа 2.

В рамках этой антропологии предполагается, что испытуемый – это не просто биологический организм, а это ещё и человек. Такая процедура современного биомедицинского исследования, как получение информированного согласия со стороны испытуемого, часто воспринимается как своего рода «довесок», который только затрудняет проведение исследования. Если, однако, попробовать осмыслить процедуру информированного согласия более широко, то *информирование* испытуемого в то же время выступает и как *формирование* субъекта, который будет участвовать в исследовании: подчеркнем еще раз, не просто информирование, но и формирование.

Субъект-испытуемый так или иначе осознаёт, для чего проводится данное исследование, какова его цель и связанные с ним риски и т.п., и когда он даёт свое согласие, то в некотором смысле становится со-участником исследования, берёт на себя часть ответственности за него. Таким образом, понимание человека как объекта биомедицинского исследования не есть что-то данное нам раз и навсегда, оно тоже исторически развивается.

Восприятие всего того, что относится к этическому сопровождению биомедицинского исследования, как каких-то помех и препятствий, вовсе не является единственно возможным. Да и само понимание этического сопровождения как вещи необходимой, но не более того, также не является истиной в последней инстанции. Этику применительно к биомедицинскому исследованию можно помыслить и совершенно иначе, попытаться увидеть в ней не столько препятствие, сколько возможность рассчитывать на получение *более объемного знания о человеке*, который выступает в качестве испытуемого в биомедицинском исследовании. В конце концов, никто не может обязать нас понимать человека как только биологический организм или прежде всего биологический организм. Быть может, всё обстоит намного сложнее, и те знания, которые позволяет получить в этическом отношении корректно задуманное и проведенное биомедицинское исследование, не просто не беднее, но в определенном смысле и богаче тех, которых в состоянии достичь антропология типа 1?

* * *

Наш другой пример относится к явлению, с которым тоже приходится иметь дело при проведении биомедицинских исследований, хотя явление это широко распространено и в рутинной медицинской практике. Речь пойдет о так называемом плацебо-эффекте. Под плацебо в данном контексте понимается безвредная, но и не предназначенная приносить пользу субстанция, которую по внешнему виду нельзя отличить от действительного лекарственного препарата. Суть плацебо-эффекта в том, что терапевтически значимый результат, скажем, такой, как улучшение самочувствия, у пациента может быть связан не с самим по себе биохимическим воздействием на организм принимаемого препарата, а психосоциальным влиянием контакта с врачом, с тем, что пациенту сообщено о неоднократно подтвержденной эффективности препарата, и т.п.

По некоторым сведениям, эффект плацебо может проявляться в каждом третьем случае. Поэтому при проведении биомедицинских исследований предпринимаются специальные усилия для того, чтобы компенсировать возможный плацебо-эффект (так называемый двойной слепой метод). Участников исследования разбивают на две группы, основную и контрольную, так что проверяемый препарат получают только те, кто попал в основную группу, члены же контрольной группы получают плацебо. При этом ни сами участники, ни исследователи не знают, какая из групп является основной, а какая – контрольной. Если по результатам исследования обнаруживаются статистически значимые различия между двумя группами, то можно считать, что плацебо-эффект в данном случае удалось преодолеть.

Иногда говорят также о ноцебо-эффекте, который противоположен плацебо-эффекту: в этом случае безвредная инертная субстанция оказывает, напротив, неблагоприятное воздействие на состояние пациента. По словам исследователя У.Кеннеди, который впервые предложил этот термин, действие ноцебо – это «то, что присуще пациенту, а не лекарству»²⁰. Очевидно, то же самое справедливо и применительно к эффекту плацебо. В обоих случаях мы имеем дело с последствиями того, что лекарство или плацебо принимает не сам по себе биологический организм, а пациент как целостная личность.

Эффект плацебо воспринимается, в частности, при проведении биомедицинских исследований как досадная помеха, для противоборства с которой приходится прибегать к специальным ухищрениям. Дело осложняется еще и тем, что эффект плацебо носит индивидуальный характер и не поддается стандартизации. Но и в этом случае мы можем задуматься о том, что коль скоро эффект плацебо есть проявление человеческой природы, то и в научном познании человека можно не только бороться с ним, но и пытаться использовать его как еще один источник вполне содержательных знаний о человеке.

Примечания

- ¹ Дильтей В. Описательная психология. СПб., 1996. С. 16.
- ² См.: Юдин Б.Г. Биологическое познание как элемент культуры // Методологический анализ как направление изучения науки. М., 1986. С. 162–168.
- ³ Там же. С. 164.
- ⁴ Цит. по: Bull J. The Historical Development of Clinical Therapeutic Trials // Journal of Chronic Diseases. P., 1959. 10(3). 218–248.
- ⁵ Вообще говоря, в современном биомедицинском исследовании таких сторон оказывается не две, а много больше. См. в этой связи: Юдин Б.Г. Этическое правовое регулирование биомедицинских исследований в документах Совета Европы // Философия биомедицинских исследований: этос науки начала третьего тысячелетия. М., 2004. С. 108–119.
- ⁶ Т.е. обусловленный не какими-либо специфическими особенностями личности данного исследователя, а самой структурой той регулярно воспроизводящейся ситуации, в которой находится как он, так и другие исследователи.
- ⁷ См.: Моримура С. Кухня дьявола. М., 1983; Yudin B. A Case of Human Experimentation: The Khabarovsk War Crime Trial // 8th World Congress of Bioethics. Book of Abstracts. August 2006, Beijing, China. P. 33.
- ⁸ Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. М., 1950.
- ⁹ Dower, John W. War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War. N. Y., 1986. P. 8.
- ¹⁰ Цит. по: Рогинский М.Ю. Милитаристы на скамье подсудимых: По материалам Токийского и Хабаровского процессов. М., 1985. С. 167.
- ¹¹ Материалы... С. 15.
- ¹² Моримура С. Кухня дьявола. С. 13.
- ¹³ Акияма Х. Особый отряд 731. М., 1958. С. 67.
- ¹⁴ Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М., 2008.

- ¹⁵ Моримура С. Кухня дьявола. С. 5.
- ¹⁶ Материалы... С. 231–233.
- ¹⁷ Моримура С. Кухня дьявола. С. 6.
- ¹⁸ Харре Р. Конструкционизм и основания знания // Вопр. философии. 2006. № 11. С. 98.
- ¹⁹ Фуко М. Рождение клиники. М., 1998. С. 135.
- ²⁰ Kennedy W.P. The nocebo reaction. Int. J. Exp. Med. 1961; 95:203–5.